Борис ХАЗАНОВ

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Мысли вслух и вполголоса

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Борис Хазанов

Время и вечность. Мысли вслух и вполголоса

«Алетейя»
2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Хазанов Б.

Время и вечность. Мысли вслух и вполголоса / Б. Хазанов — «Алетейя», 2019 — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-907115-88-0

Время есть движущийся образ вечности. Название книги Бориса Хазанова отсылает к словам Сократа, которые передал нам в одном из своих диалогов Платон. Новая книга патриарха русского литературного Зарубежья представляет собой сборник произведений автобиографической, художественной, эссеистической прозы и завершается подборкой писем из личного архива автора.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907115-88-0

© Хазанов Б., 2019
© Алетейя, 2019

Содержание

Memorabilia[1] 6
Часть I, философическая 7
Часть II, беллетристическая 10
Антивремя 10
Свидание 14
О патриотизме 16
Катабасис 17
Возвращение 18
Двенадцать 21
Музиль 22
Жертвоприношение 23
Подобие пролога. Дровокол и Сатурн. Снег 23
Лагпункт: вид сверху. Любовь и смерть 25
Утренние известия. Капитан на вахте. Шествие капитана по лагпункту 26
Шествие Анны Никодимовой и марш оперативного уполномоченного 26
Баба Листратиха, северная Астарта 28
Бегство на юг. Начало следствия 28
Прошёл один день. Продолжение. Письма заочной любви 29
Перекрёстный допрос 30
Оракул. Запахло мистикой 32
Жизнь как судьба. Обмен мнениями между мнимым беглецом и механиком. Семяизвержение ненависти. И снова снег 33
В пещи огненной. Вознесение Карнаухова 34
Куда струится время? Эпилог 36
Вместо заключения 37
Часть III, эпистолярная 39
Об эпистолярной прозе 39
К Ольге Петровой[2] 40
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Борис Хазанов
Время и вечность. Мысли вслух и вполголоса

Борису Марковскому, другу и собрату по ремеслу

© Б. Хазанов, 2019
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

Memorabilia[1]

Эта книжка, род лоскутного одеяла, состоит из фрагментов, написанных в различные времена. Можно сравнить её и с галереей зеркал – смотришься в них и видишь разные лица. Либо это ребёнок – и, вглядываясь в него, стараешься угадать, кем он станет через много лет, – либо старец, всё ещё сохранивший стёршиеся черты ребёнка. Единственное, что скрепляет этот маскарад, – навязчивые воспоминания, но и они перебивают друг друга: жизненные передряги, мнимые достижения, очевидные неудачи, везение, невезение… Наконец, страна, от которой никуда не денешься, которая возвращается, как тень Бан-ко, страна-призрак, где посчастливилось или, напротив, угораздило родиться.

Рискну и я признаться, что сочинение моё есть не что иное, как плод сострадания к сочинителю? Как говорили в старину: простите автору его ошибки!

Сентябрь 2018

[1] Памятные записки (*лат.*)

Часть I, философическая

Вижу вашу кривую усмешку, мой друг, вы снисходительно пожимаете плечами, услыхав о том, что я намерен угостить вас неким домотканым трактатом: вам знакомо моё пристрастие к философствованию. Русскому писателю, скажете вы, растекаться по древу как-то не к лицу, да. пожалуй. и не по зубам. Русский писатель, как и читатель, не питает симпатий к отвлечённым материям, нам подавай нечто реальное, что-нибудь, что можно потрогать руками, узреть собственными глазами Живая жизнь, действительность – вот наш пароль, вот единый и единственный предмет нашего внимания. Не мудрствуй лукаво, показывай, а не рассказывай. И не слишком распространяйся о себе и своих изделиях.

* * *

Но есть потребность поразмыслить о своём замысле, отворить ворота, быть может, открыть секрет мастерства. Короче, сделаться собственным комментатором. И, однако, не стала ли самоозабоченность литературы разумеющейся ещё со времён Флобера, манией западного романиста, интегрировать рефлексию в ткань прозы, превратить самоанализ в художественный приём. Дальше всего ушёл в этом направлении австриец Роберт Музиль. К чему всё это привело? Мне приходилось – вы помните – писать о торжестве и крахе эссеизма. Но – поговорим о другом.

* * *

Когда ныряешь, зажмурившись, в катящийся навстречу, как прилив на морском берегу, вал памяти, другими словами, погружаешься в стихию времени, – хочется отдать себе отчёт, что, собственно, мы подразумеваем под этим ключевым словом – время?

Первым делом, само собой, вспоминаешь Августина (Исповедь, XI, 10–30): «Пока меня никто не спрашивает, что такое время, я понимаю и нисколько не затрудняюсь, но если кто-то попросит объяснить, что оно такое, я не знаю, что ответить».

И дальше: «Неточно выражаются те, которые говорят, что есть три времени: прошлое, настоящее и будущее. Точнее, по-видимому, было бы сказать так. Имеются три времени: настоящее, относящееся к вещам прошлым; настоящее, относящееся к вещам настоящим, и настоящее, относящееся к вещам будущим. Поистине эти объекты существуют только в душе нашей… Настоящее вещей прошедших в *воспоминании*, настоящее предметов настоящих – в *созерцании*, настоящее вещей будущих – в *ожидании*».

* * *

Невозможно, конечно, обойти молчанием и первоисточник рассуждений о времени – диалог Платона «Тимей». Охваченный чувством беспредельности Космоса во времени и пространстве, Афинянин высекает знаменитое определение Времени как подвижного образа Вечности.

* * *

Столетия спустя находим в нелёгких для чтения «Эннеадах» старшего неоплатоника Плотина размышления о божественном Всеедином, незримо присутствующем во всех суще-

ствах, независимо от того, каким образом постигается это присутствие. Мир, таким образом, принадлежит Божеству. Вечность – атрибут Бога.

* * *

Итак, превыше всего, по Плотину, стоит верховное Начало – единое и абсолютное. От него происходит Ум, начало единомногое. Мир, не доступный нашему зрению, есть лишь его подобие. Это мир платоновых вечных идей, тени, скользящие по дну пещеры, Не о том ли поёт мистический хор Гёте в финале второй части «Фауста»: «Всё преходящее есть лишь подобье».

* * *

Довольно об этом. Нерешённым остался вопрос: предусмотрена ли для нас, людей, другая возможность причаститься вечности? Да, возможна.

* * *

Если позволить себе вклиниться в сей глубокомысленный дискурс. Что я осмелился бы к нему прибавить? Прежде всего, отказался бы от попыток объективировать время. Пусть это и покажется не новым. Будь что будет! Идея времени для меня – изобретение моего собственного ума, вечность – призрак. И, однако, вопреки Афинянину я начинаю думать, что существует всё-таки возможность победить тиранию времени. Это и значило бы отворить врата вечности. Я говорю о трёх путях. Это – сон, память и любовное соитие.

* * *

Припоминаю «Земляничную поляну», шедевр Ингмара Бергмана. Перед рассветом пожилой профессор медицины Исак Борг видит сон. Он оказался в незнакомом городе, бродит по безлюдным улицам и натыкается на столб с часами, На циферблате отсутствуют стрелки. Время исчезло.

А потом, прежде чем окончательно погаснет экран, выясняется, вспоминается, что и любви настоящей, с полной самоотдачей, – за всю жизнь не было.

* * *

Время, какими бы метафорами его ни оснастить: текучая вода, колесо дня и ночи, песок в песочных часах, юность, старость, кругооборот светил, – время порабощает. Карусель событий одуряет, лавина эфемерных новостей валит с ног, время властвует над нами везде, жизнь современного человека – это безостановочная суета и спешка, отчаянные попытки устоять, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому – смерть. Грохот состава, который ведёт безглазый машинист. Но существует вечность.

Что же это такое: нечто сущее на самом деле или изобретение мозга? Спор никогда не будет решён, его и не надо решать. Существует переживание вечности, Вечного Настоящего, ослепительная догадка, что время – временно и этой временности противостоит нечто пребывающее.

* * *

Скажут: мистический экстаз, Пожелают связать это чувство с религиозной верой. На мой взгляд – сомнительное дело. Религия обещает личное бессмертие. Вечность, однако, вечность вовсе не означает вечную жизнь. Вечность – сама по себе.

* * *

Вера. Какая вера? Вера сгорела в печах. Унеслась с дымом в пустые небеса. Я не могу спорить с учёными богословами. Они станут доказывать, что Всевышний наделил человека свободой воли, стало быть, люди сами виноваты: предпочли зло добру. А я думаю, что всесильное и благое Верховное существо, о коем, впрочем, лучше помалкивать, допустившее гибель шести миллионов ни в чём не повинных людей, мало того, что дискредитировало себя в глазах жертв и тех немногих, кто уцелел. Оно поставило под сомнение своё собственное существование. Это было самоубийство Бога! Пускай теперь пастыри пытаются выгородить своего кумира. Мы, всё наше поколение, чувствуем себя на поминках.

* * *

Перечитываю по ночам записные книжки Мишеля Чорана и чувствую, как родственна его весть моей душе. Тянет последовать его примеру, – отсюда эти летучие строки.

Сон ошеломляет неопровержимым реализмом жутких, подчас напоминающих Виктора Браунера видений. В Москве, теперь уже много лет назад, но знаю, помню отчётливо, накануне обыска, когда отряд поганцев из Прокуратуры похитил у меня роман и утащил все бумаги, мне приснилось: в полуоткрытую дверь протиснулась рожающая лошадь. Голова рожала жеребёнка.

* * *

Вновь о том же… Человеку дано причаститься вечности, всем своим существом ощутить чувство вечности. Чувство это нисходит свыше или, лучше сказать, восходит снизу. Не могу устоять против искушения процитировать, несколько переиначив, фразу Новалиса о том, что плотское вожделение низводит избранника вниз, погружая в чашу любимой женщины, и возносит из пучины экстаза. И, высвобождаясь, полузадохнувшийся, смежив веки, из чрева матери, он беспомощен, словно новорождённый, и навстречу ему вспыхивает метафизический свет.

Часть II, беллетристическая

Антивремя

Давным-давно, в раннем моём романе «Антивремя», я пытался описывать нечто подобное.

…Это была та же комната, выцветший половик, ходики, то же лицо с венцом из колючек над тонкими бровями и зеленоватыми провалами глаз, лицо человека, которого никогда не было и который был, который смотрел сквозь опущенные веки; мне не нужно было вспоминать, это была та же икона и та же самая комната, я находился в ней наяву. Тамара зашевелилась рядом со мной, я снова закрыл глаза, снова открыл; ее состояние меня тревожило, я догадывался, что случившееся на улице было только поводом, чтобы проводить ее домой, ибо готовилось неотвратимое. Я опоздал в столовую, опаздывал на работу. Но теперь нечего было и думать о том, чтобы оставить ее. Икона поблескивала на стене, белел календарь, часы лихорадочно отстукивали секунды, но я понимал, что это лишь видимость, холостой ход механизма и стрелок. Существовал ли я? Или только готовился жить и меня еще не было? Неслышно отворилась дверь, на пороге стояла Тамара, она лежала рядом со мной, и она же стояла там, на пороге, в шерстяных носках, маленькая, как еврейская девочка, тот самый подросток с огромным животом, распиравшим ее, и маятник колыхался и гремел, как поезд, в котором нет ни одного пассажира. Я не мог произнести ни слова, мне было тяжело смотреть, как она мучается, кровь текла у нее по ноге; она мычала и гладила толстыми загрубелыми пальцами мою кожу, которая была одновременно и её кожей. Может быть, это была волна желания, медленно поднимавшаяся из пучины нашего общего сна и накрывшая нас с головой, – пробудившись первой, она, возможно, пыталась расшевелить и меня, неподвижно лежащего на дне ее чрева. Она задвигалась и, вздымаясь, выгнулась почти дугой, хриплый стон вырвался из её сжатых губ… я почувствовал, как она уперлась ступнями в кровать, и мощная сила повернула меня и стала выталкивать наружу. После нескольких толчков она шумно вздохнула, распласталась, и все было кончено. Я лежал, ошеломленный, между ее ног. Это были роды.

* * *

Если бы меня спросили, кто я такой, я повторил бы слова Пилата: Ecce homo, вот он, этот человек! Так кто же ты всё-таки… Quis es?

* * *

Я родился, как Онегин, на брегах Невы, и вырос, как его создатель, в Москве. Я еврей и русский литератор, довольно обычное совпадение. Хотел бы отметить примечательную двуликость моей судьбы. Потеряв в детстве мать, я был воспитан отцом и домработницей, русской крестьянкой Анастасией Крыловой, любившей меня, как мать. Моё паспортное имя Героним демонстрируя ту же двойственность, представляет собой гибрид иудейского Грейнем и греческого Иероним. Мой дед-ремесленник был бедняк, книжник, считался знатоком Закона, а другим моим тёзкой стал раннехристианский аскет IV века, переводчик Ветхого Завета отец церкви блаженный Иероним.

* * *

Мой голубоглазый рыжебородый дедушка, умерший задолго до моего появления на свет, вернулся, как некий призрак, из своей местечково-библейской вечности ко мне. Когда ледяной весной 1950 года я попал в уголовный комендантский лагпунк, звериное сборище полулюдей-полукрыс, а затем транспортирован на лагпункт Белый Лух, у меня отросла рыжая щетина, превратившаяся в бороду.

* * *

Свою участь, причудливою мою жизнь и судьбу, я не раз описывал в своих произведениях, и каждый, кто их прочтёт, согласится, что я был рождён для бегства. Я и сегодня, на пороге собственного столетия, эмигрант. Слово это ныне в России обросло нелестными коннотациями. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам… надо ли это цитировать. Каким врагам?.. И так далее. Кто-то в это верит. Я, однако, смею гордиться статусом апатрида, – для меня это нечто вроде орденской ленты. Родина наградила меня увесистым пинком в зад. Остракизм – заслуженная награда.

* * *

Es treibt dich fort von Ort zu Ort. Гонения и скитания из края в край спасли моих пращуров, сумевших протянуть сквозь века ниточку, за которую ухватилась детская моя рука. Всё возвращается, как сказал Экклезиаст, на круги своя: не то же ли сбылось со мной, кому эмиграция спасла жизнь, избавила моего сына от угрозы повторить мою жизнь, национальной дискриминации и нищеты.

* * *

…Забыл, увлёкшись родословием, другую тему. Я всегда чувствовал себя отверженным в стране, где родился и вырос. Это связано не в последнюю очередь с тем, что я русский интеллигент и еврей, то есть более или менее ненавидимое существо; с юдофобством, чаще нескрываемым, либо растворённым в атмосфере, подобно лёгкому зловонию, о котором не знают, откуда оно взялось, я – как же иначе – встречался за свою долгую жизнь не единожды, равно как и с этим специфическим переживанием стеклянной стены, о которую то и дело ударяешься лбом. В лагере, безо всякого лицемерия, попросту бывал избит народом уголовников. Да о чём там говорить. Короче, я был изгнанником задолго до того, как покинул страну своего рождения и языка, – история моей жизни, а значит, и писательства, мне кажется, подтверждает это.

* * *

Я никогда не забывал, не забуду и до конца жизни, что я бывший заключённый. Всё равно, что бывший люмпен или граф… Можно быть кем угодно: служить в банке, сочинять романы или развозить по домам глаженое белье – и при этом ни на минуту не забывать о своём, графском титуле. Лагерное прошлое означает принадлежность к особому сословию. Лагерь есть своего рода расовая принадлежность. Или профессия, которую можно слегка подзабыть. Но разучиться ей нельзя, она остаётся с тобой навсегда. Лагерь был нашим истинным отечеством, вся же прочая жизнь представлялась поездкой в теплые края, отпуском, затянувшимся,

оттого что всесильное учреждение, подобно суду в романе Кафки, перегружено делами и до тебя просто ещё не дошли руки. Если мою удачу заметят, я пропал, как сказано в одном стихотворении Брехта: Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Мы все остались в живых, да и всё ещё остаемся, просто по недосмотру начальства. И я всегда буду помнить это отечество, эту истинную Россию, потому что только такое отечество у нас и было. У меня всегда было чувство, что если я вновь зажил в московской квартире, и был счастлив с моей женой и сыном, и ходил свободно по улицам, и притворялся свободным человеком, то это был всего лишь отпуск, это было попустительство судьбы, чьё терпение однажды иссякнет. В любую минуту меня могут разоблачить. Почему бы и нет? Ибо на самом деле я переодетый граф, я кадровый заключенный, моё происхождение никуда от меня не делось, мои бумаги всюду следуют за мной, «дело» с тайным грифом ХВ, то есть «хранить вечно», иначе (тюремный фольклор) «Христос Воскрес», ждёт своего часа, и моя пайка, место на нарах и очко в сортире – за мной, и лагерь где-то существует и подстерегает меня, как подстерегал в сорок девятом году…

Вернись я на полчаса, и дело мое, в самом деле, тотчас воскреснет, потому что кровавая гадина государственной безопасности не уничтожена, она бессмертна, и доднесь процветает, и пребудет вовек.

* * *

Всё же мне повезло. Я не успел по возрасту быть призван, не побывал на войне, не был убит или искалечен, не оказался на оккупированной территории, не был умерщвлён в газовой камере, сожжён в печах. Я не околел в лагере. Я родился и вырос в русском языке, который обожествляю, мне удалось оставить недоброе отечество, я встретил девушку, которая стала женщиной моей жизни. Изгнанный из России, я выпустил за кордоном несколько дюжин книг. Мне 90 лет. Я всё ещё жив.

* * *

Говорят, времена изменились, Но не изменились, – как не изменились и сны, и породившие их воспоминания. И если бы заблудившийся лётчик очутился в наших пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Россия лагерей – вот моё подлинное отечество.

* * *

Пушкинское предсмертное *Из Пиндемонти, Поэт Поэту, Воспоминание, Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит* – стало моим финальным евангелием.

* * *

Время, Память, Одиночество. Любовь. Наконец, Творчество. Вот темы, что стучатся в дверь, вынуждая быть писателем, вот о чём только и стоит писать.

* * *

Одиночество Овидия на берегу Понта; ни одного человека, жалуется он, кто сказал бы словечко по-латыни.

Моя речь – обречённая смерти латынь. Мой язык, некогда назывался русским. Достаточно представить себе: приезжаю в Москву и пытаюсь объясниться с местными жителями.

* * *

И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,

А. Ахматова

* * *

Вспоминается… Снова вспоминается, и, чёрт возьми, никуда от этого не денешься. Препоручаю данный эпизод, краткую историю побега из времени в вечность – тому, кто был некогда мною и мною же остаётся.

Сравниваешь страну, где ныне коротаю затянувшуюся старость, с той, давно ушедшей, – с незабвенным отечеством. Так можно сравнивать жизнь на Земле с существованием на Сатурне.

* * *

Нет, – это не та память Пруста, называемая *непроизвольной*, возбуждённая вкусом печенья, размоченного в липовом чаю у тётушки Леонии, – но память *насильственная, память-наваждение,* от которой невозможно спастись в третьем часу ночи, зудящая память, которую расцарапываешь до крови.

* * *

Deus conservat omnia, повторяет Анна Ахматова девиз на фронтоне Фонтанного дома. Бог сохраняет всё. Мой бог – память, она копит в своих подвалах всё пережитое и изжитое. Не зря ведь случается увидеть во сне людей, исчезнувших с нашего горизонта и о которых мы никогда не вспоминали.

Свидание

Помню событие, замечательное своей невероятностью, гробовой голос радиодиктора Левитана из коробки на столбе в бараке: *Товарищ Сталин потерял сознание*. Злорадное торжество узников, хоть и старались его не показывать: наконец-то! И хотя каннибал, как считалось, был ещё жив, все поняли: это конец. Конец!

* * *

Но ещё много воды должно было утечь, прежде чем наступили перемены. Время – вещь необычайно длинная, как вещал Маяковский. И тянулась она, эта вещь, словно на отдаленных планетах. Как малосрочник, вдобавок большая часть срока уже отсижена, я был расконвоирован и должен был перепробовать много новых должностей и работ. Был ночным дровоколом на электростанции, банщиком-истопником в бане для начальства, и конюхом, и хозвозчиком, комендантом на крайнем северном полустанке Поеж лагерной железной дороги. Как известно, год на Сатурне продолжается 3000 земных лет.

* * *

Загремел железный засов на вахте. Предъявив поднявшемуся с лежанки, сладко зевающему дежурному надзирателю свой пропуск бесконвойного, счастливец вышел за ворота лагпункта в синюю морозную ночь. На чёрном небе горизонтальный низко над лесом сверкал алмазный Ковш. Всю долгую ночь 55 года несла вахту недоступная зрению семижды окольцованная планета лагерей, покровительница России. Всю ночь напролёт сияло, словно иллюминация, кольцо огней вокруг жилой зоны и били с вышек белые струи прожекторов.

* * *

По тропке, протоптанной в снегу мимо увешанного лампочками, нежно позванивающего цепочками бессонных овчарок древнерусского тына сновидец прошагал до угловой вышки с завёрнутым в тулуп попкой-пулемётчиком и направился к сторожке при магазине вольнонаёмных, охранять объект неизвестно от кого. Славная работа. На мне был стёганый ватный бушлат, униформа узников, ватные штаны и диковинные карикатурные валенки. На голове-балде ушанка с козырьком рыбьего меха и завязанными ушами, руки в латаных мешковинных рукавицах.

Посидев для порядка, я вышел из сторожки. Тёмная чаща поджидала, храня тайну. Беглый раб, я научился определять время по звёздам. Привык к риску. Если меня хватятся, мне не сдобровать. Влепят новый срок, а то и загонят с этапом на край света. Отечество наше, славате господи, велико и обширно.

* * *

Столетние сосны, утонувшие в снегу, расступились перед бодро шагающим знакомой дорогой. Идти недалеко, километров пять.

Наконец, посветлело впереди. В белёсой мгле завиднелись угластые избы под шапками снега. Ни звука, ни огня вокруг, деревня – помнится, называлась Кукуй – спала, спит, должно

быть, и доселе, вековым непробудным сном со времён Батыя, лишь два окошка светятся на краю селения.

* * *

Проваливаясь в сугробах, путник перебрался через погребённый плетень и взошёл на крыльцо. Оттоптал снег в сенях, толкнулся в тяжёлую, застонавшую дверь. В тёплой и духовитой от развешанных под потолком пучков полыни избе было чисто и уютно, чахлый огонёк вздрагивал в сальном светильнике на дощатом столе, в красном углу поблескивала жестью оклада темноликая византийская Богородица.

* * *

Гость уселся на пороге, стянул валенки, размотал портянки. Она стояла надо мной, босая, молча, в длинной рубахе, под которой стояли её большие материнские груди.

– Феклуша, – прохрипел сновидец. – Феклуша!..

И мы обнялись, и долго и горячо целовались.

* * *

Пришелец взобрался в лагерных подштанниках по шаткой лесенке на лежанку. Печь дышала теплом. Подполз ближе. Сильные женские руки обхватили меня, толстые пальцы прокрались ловко и нежно и овладели мною. И я погрузился в чашу её просторных бёдер, и время отступило, повинуясь последним содроганиям, и не было больше огромной бесприютной страны, высокого тына и сторожевых вышек, и кольца огней, и позванивающих цепочками овчарок, и слепящих прожекторов, не было ничего – была вечность.

* * *

Слушал на днях в интернете с большим интересом продолжительный разговор популярного литературного критика Галины Юзефович с кем-то из коллег по цеху и живо почувствовал, как далеки, как галактически далеки от современной русской словесности и сегодняшней литературной жизни с её предпочтениями, вкусами, чинами, – как далеки, чужды им моё слово, музыка, философия, весь тот мир, в котором я живу, Скверное чувство. Стало ясно, как день, что всё сочинённое мною не имеет и, видимо, не обретёт ни малейших шансов встретить сочувствие у обоих собеседников, равно как и у слушателей, им внимающих.

Тоска, скука бывшего обитателя башни из слоновой кости, которого переселили в унылое плебейское жильё.

* * *

Эмиграция, вот в чём дело. Двойной побег из отечества – в Зарубежье и в старость.

О патриотизме

Сцена из фильма Глеба Панфилова «В огне брода нет», дуэт замечательных актёров Лебедева и Чуриковой. В избе местного священника на станции, вокруг которой полыхает гражданская война, девушку медсестру санитарного эшелона красных, попавшую в плен к белым, допрашивает белогвардейский полковник. Следует короткий диалог.

– Ты комсомолка?

– Комсомолка.

– Россию любишь?

– Люблю.

* * *

Я не знаю, как ответил бы я на вопрос, люблю ли я мою страну. Думаю, что ответ, разумеется, неоднозначный, содержится в моих произведениях, – нужно только прочесть их по возможности внимательно и терпеливо.

* * *

Прожить всю жизнь в огромном, напоминающем те самые, доисторические существа, вымершие оттого, что они были слишком велики, государстве, поражённом неисцелимой злокачественной опухолью – советским социалистическим коммунизмом.

И, однако: что значит «неоднозначный»? Женщину или любят, или не любят. Словно готовая отдаться, эта страна раскинулась на бескрайних пространствах, чтобы вобрать, всосать тебя всего без остатка, влагалищная страна, не отпускающая из гибельных своих недр…

Катабасис
(Спуск, нисхождение)

Никого не было. Ни звука в коридоре. Серый зимний день сочился в окно. Он – удобней будет говорить о себе в третьем лице, как если бы я взял взаймы память у кого-то другого, – он сидел над учебниками, когда послышался шорох, кто-то там подкрался. Робко приоткрылась дверь. Студент поднял голову. Она вошла, стараясь преодолеть смущение. Он улыбнулся скорее из вежливости. Он был занят.

Была такая на старшем курсе и на один год старше, по имени Фаина, или просто Фая. Фая Кравец. Он всё ещё сидел спиной к ней; она решилась. Молча, обойдя стол, обняла сзади сидящего и прижалась, давая. ему почувствовать близость своего тела. Это был отважный шаг. Неожиданно стукнуло что-то снаружи, она отпрянула.

В пустом и холодном коридоре общежития, под сиротливыми лампочками по-прежнему всё молчало. Время остановилось. Девушка шагала, прямо глядя перед собою, минуя одну дверь за другой, она была невысока, несколько полновата и широка в бёдрах, мужчина следовал за ней, как тень.

В тусклом освещении волосы Фаи слабо отливали медовым оттенком. Тысячелетия должны были пройти, прежде чем в ней смешалась кровь рыжеволосых цариц Ханаана с кровью смуглых пленниц-моавитянок. Она шествовала, точно несла себя, отведя руку в сторону, чуть заметно покачивая бёдрами.

Она остановилась… В дальнем конце коридора полутёмная лестница спускалась, словно в преисподнюю, в подвал. Студент догадывался, куда его влечёт непостижимая судьба. Оба сошли в сырую тьму подземелья. Медноволосый психопомп вёл его в приют испуганно сторонящихся теней. Вдоль стен тянулись трубы центрального отопления, девушка протянула руку к штепселю. Жидкий свет брызнул с потолка, нашлась дверь; отворив, они оглядывали закуток с хозяйственной рухлядью, искали ложе или саркофаг.

Он подчинился. В огромных, темно отсвечивающих глазах Фаины застыло уверенное ожидание, минуты казались вечностью. Губы зашевелились, – он понял её без слов, то был зов к продолжению жизни. Пальцы Фаины расстегнули кофточку, открылась белизна рубашки, руки потянулись назад, чтобы освободиться от лифчика, и обнажили грудь.

Возвращение

Твердят, уверяют, и, быть может, не без основания, что писатель не может работать, оторвавшись от стихии родного языка – простившись с отечеством. Я и сам чувствую свою отверженность. Видите ли, вспоминать – не то же, что помнить…

* * *

Итак, ещё одно памятование, ещё одна попытка переиграть шахматную партию в наивной уверенности, что её, эту проигранную игру, можно было всё-таки выиграть.

* * *

Случилось так, что я вернулся после одиннадцатилетнего изгнания в город, который, собственно, и считаю, как ни смешно, своим отечеством; обстоятельства мои не располагали к долговременному визиту, не говоря о том, чтобы остаться насовсем. У меня был запас свободного времени, для начала хотелось прогуляться, я чуть не сказал – прошвырнуться, по родным местам. Мне не нужен был план города, путеводителем служило мне моё детство.

* * *

Первым делом отправился на улицу Кирова, некогда именовавшуюся Мясницкой. Если вы спросите у прохожих, что за птица был этот Киров, вам вряд ли кто объяснит. Разве только пожмёт плечами: был такой. Тёмная личность. А ведь я ещё помню траур, когда кто-то его убил. По Мясницкой ходил трамвай. Помню последних извозчиков, они сидели на козлах, ожидая седоков, которых становилось всё меньше. Здесь всё давно стало бывшим.

* * *

Погода улыбнулась пришельцу. Естественно, я шёл пешком. Миновал Кривоколенный переулок; долго разглядывал старинную вывеску. Кажется, здесь проживал Веневитинов. Нельзя быть истинным москвичом, не зная об этом переулке. Такие названия, как Покровка, Маросейка, Армянский переулок, Чистые Пруды, Красные Ворота, звучат для меня как топонимы античной географии. Дойдя до следующего поворота, в Большой Козловский, – тут помещался прежде писчебумажный магазин, можно было купить тетрадку в клетку или в линейку, стальное перо № 86, перо «селёдочку», или «рондо», – дойдя до угла, как в бреду, я побрёл, крадучись, мимо дома 42, обиталища уголовной шпаны, увидел верзилу на страже у ворот, – сейчас оттуда выкатится слюнявый подросток, попробуй отмахнуться от него, бандит шагнет к тебе, квакнет: «Дай ребёнку часы поиграть»; впрочем, никаких ручных часов ни у кого тогда не было. Словом, опасный двор. Отогнав наваждение, я двинулся вдоль каменной ограды исчезнувшего чехословацкого консульства. Вспомнилось, как мы, дети, столпились перед подъездом великолепного особняка вокруг машины, из которой вылезал элегантный офицер в мундире с узкими серебряными погонами, – нечто невиданное.

Дефилирую дальше… внимание! Дом, подумать только, наш дом стоит, как ни в чём не бывало. Поблескивают окна нижнего этажа, – кто теперь там обитает? Я мог бы и сейчас назвать фамилии чуть ли не всех квартирантов. Направо от окон глухие железные створы

ворот. Признаться ли, что фасад, окна, арка ворот собственно и были целью моего путешествия? Ноги подтащили меня к подворотне.

* * *

Толкнулся – не тут-то было, ворота захлопнуты. Повернул оглобли – к Большому Харитоньевскому и Чистопрудному бульвару. И тут, наконец, дошло до сознания, паломника, блудного сына, охваченного ознобом бездомности, что никто и ничто в этом царстве сна тебя не ждёт.

Впрочем, оспорить новое и чужое, воцарившееся за все эти годы, было бы невозможно: город, знаемый наизусть, стал непроизносим. Однако свежие впечатления недолговечны, былое не мирится с настоящим. Память не терпит редактуры. Сны непогрешимы.

Всё же мне бы следовало – на то я и литератор – подробнее отчитаться об этом путешествии, что я и собираюсь сделать. Итак, продолжим. Войдя в переулок, обессмертивший некоего домовладельца, который обосновался здесь после пожара 1812 года, иноземный гость узрел воочию то, о чём фантазировал не одну творческую ночь. Первая мысль моя была о дворнике. Иван Сергеев, суровый мужик в холщёвых портах на крестообразных помочах и белом фартуке, униформе столичных дворников, запирал ворота от незваных визитёров – бродячих певцов, гадателей, собирателей съестных отбросов и местного хулиганья. Что стало с дядей Иваном? Казалось мне, я не удивлюсь, выйди он мне навстречу.

Побродив взад-вперёд, ещё раз нажал на ворота. Чудо – створы приоткрылись. Протиснуться в щель для подростка, в которого я превратился, не представляло труда. И вот стою, волнуясь, под аркой: слева мусорный ящик с поднятой крышкой источает запахи гнили и старины, – кто-то забыл захлопнуть. Впереди, в просвете арки наш старый двор, знаю назубок его, как «У лукоморья дуб зелёный»: каменный мешок, похожий на все московские дворы. Всё тут не раз обнюхано и описано в моих сочинениях: и рёбра снеготаялки в ожидании зимы, и пожарные лестницы, и оба чёрных хода, и ребячьи письмена мелом на асфальте. По-прежнему слепо отсвечивают окна этажей, – в эту минуту солнце украдкой проникло в пропасть двора. Задрав голову, я увидел над окоёмом крыш и кирпичным брандмауэром голубые поляны неба.

* * *

Но сам двор на удивление оказался мал, стиснутый между стенами дома, – всё-таки я воображал его себе иначе. Трудно было представить, как мы могли носиться наперегонки в этакой тесноте, от подворотни к крыльцу перед квартирой дворника, от одной лестницы к другой.

Тут меня окликнули. Я обернулся. И это случилось! Не напрасно вспомнилась наша беготня. Приключение, ожидавшее меня, было из тех, в которые веришь и не веришь – готов, однако, ручаться за правдивость своего рассказа

* * *

«Ты?!» – спросил я ошеломлённо. Тотчас меня осенило: ведь я её ждал! Сам того не замечая, не отдавая себе отчёта, думал о ней, бродя по переулку, колотясь в ворота.

Лида, Лидка, старшая дочка дяди Ивана.

Не могло быть никаких сомнений. Она, живая, как в той жизни, и сама жизнь, Лида, которую никто не мог догнать, крепконогая, круглолицая, почти на голову выше меня и на год старше, в ситцевом платье до коленок, под которым как будто уже начали округляться бёдра.

Тайнопись пола. Я уставился на Лиду глазами сверстника и взрослого одновременно. То была зашифрованная в двенадцатилетнем подростке красота женщины.

«Не узнаёшь? – спросила она. – А я тебя сразу узнала».

Не только узнала, но, как и я её, назвала меня по имени. Я молчал, не сводя от неё глаз. Мне нужно было время, чтобы окончательно ощутить себя одним из тех, кем были все мы, наш двор, – полудетское наше отечество. Обоих, меня и Лидку, дразнили женихом и невестой.

«Помнишь?» – спросил я.

Она возразила, подбоченившись:

«Я знала, что ты приедешь».

Я пролепетал:

«Знала… откуда?..»

«От верблюда. Зачем?»

«Что зачем?»

«Зачем приехал».

«Сам не знаю, – сказал я. – За тобой».

«За мной?»

«Чтобы ты со мной поехала».

Ответ неожиданный для меня самого.

«Куда это?» – надменно спросила Лидия.

Ещё несколько минут прошло в обоюдном молчании…

«Хочешь, – продолжал я, – поедем со мной?»

«Я ещё не… – не женщина», – возразила она, вероятно, решив (или догадавшись), что я хочу на ней жениться, – и провела руками от груди до бёдер.

Я ждал (если это был я). Она облила меня презрительным взором. Прошлась, танцуя, мимо меня, по двору, ставшему таким нешироким. Она была права. Я понял, насколько Лида стала меня старше. Она успела усвоить чисто женское умение сделать партнёра зеркалом, в котором сама смотрелась. Я заметил – ибо зеркало всё видит, – что она поигрывает на ходу бёдрами. Прогуливаясь, напевала:

«Тили-тили тесто, жених и невеста…»

Я решился.

«Последний раз предлагаю. Поедешь со мной?» – и повернулся к выходу.

«Ты куда?»

Я возразил, что мне надо закончить рассказ. А времени остаётся немного.

«Ты пишешь рассказы?»

«Пишу. Разные… Вот, например, этот».

«Понимаю. Тебе пора в аэропорт, – проговорила она задумчиво, видимо, не зная, что воздушного сообщения ещё не существует. – Постой, – сказала она, – нам надо попрощаться. Хочешь меня поцеловать?»

«Ты не умеешь целоваться», – сказала Лида, когда губы наши расстались. – И сюда, – и отколупнула пуговки платья на груди.

Целуя Лиду, я нашёл маленький плоский сосок. Она вырвалась. Сновидец знал, что он её не догонит.

Считается (некоторые ещё разделяют эту точку зрения), что писателю необходимо жить среди своего народа, в стихии родного языка.

У меня нет собственного мнения на этот счёт.

Двенадцать

Марк Харитонов, ближайший друг, многолетний корреспондент и высоко ценимый писатель, прислал новый французский перевод «Двенадцати» Блока, выполненный Жоржем Нива, перевод очень изобретательный и аккуратный, по моему впечатлению. Я не мог спросить Жоржа (с которым знаком скорее шапочно), переживает ли переводчик, ученик фанатического французского славянофила Пьера Паскаля, гениальную двусмысленность бессмертной поэмы, как я её переживаю в своём углу, – как коварную смертоубийственную месть её создателю, месть тысячелетней России поэту за то, что он великий поэт. И аминь.

* * *

В который раз твержу себе… Или утешаю себя.

Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки ему. Сопротивляться! Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность – понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий – кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод для чего-то бесконечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить о самом жгучем и наболевшем, оказывается банальной, то есть художественно несовременной. Быть *своевременным* значит быть *несовременным*.

Музиль

Некогда я увлекался Музилем – чтобы не сказать – жил Робертом Музилем. Немного переводил.

Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в 1935 году в Париже кажется недоразумением. (Об этом конгрессе есть в мемуарах Ильи Эренбурга: упомянуто множество участников, Музиля он не заметил.) Речь Музиля никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел на подмостках. Впрочем, мало кому говорило что-либо тогда это имя.

Чем же привлекает меня, столько десятилетий спустя, давно забытая речь?

* * *

«Я, – сказал оратор, – всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живёт над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура – не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих».

Жертвоприношение
Поэма

Подобие пролога. Дровокол и Сатурн. Снег

В декабрьскую ночь автор, начавший эту страницу, получил производственную травму, случай не такой уж редкий в наших местах. Расскажу о нём кратко. Я работал на электростанции, это имело свои преимущества и свои недостатки.

Мне не нужно было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине опустевшего барака. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми, я приступал к сборам, влезал в стёганые ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал ушанку, надевал ватный бушлат и запасался мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь таких же, как я. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, – у бесконвойных же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные лозунгом и выцветшими флажками ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева от дороги, напротив казармы для охраны и посёлка вольнонаёмных, среди снежных холмов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь в жилой зоне горел свет на столбах и в бараках, ток подавался в посёлок, в казарму, в пожарное депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на заграждения из колючей проволоки и наружное кольцо. Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь – по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, без устали грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом двускатный корабль. Еженощно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, глянцевый, голый до пояса кочегар, вися грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол…

…или тот, другой, кто был мною в те нескончаемые годы. В тот единственный год, как год на Сатурне, где Солнце – лиловой звездой. В те дни и те ночи, когда в смутных известиях,

переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате – крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют и других не осталось, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда – бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь – доисторическим рыком, время – сроком, которому нет конца, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный, бесконечный год…

…когда рассказывали, повествовали о том, как старичок председатель Верховного Совета, – был такой, какой-то совет в неведомых лалях, – старичок, говорю я, в очках и в бородке клинышком, едва только доложат, что пришёл состав, канает на Курский вокзал, идёт, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных помиловками, то бищь просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом, наискосок, на каждом вагоне – резолюцию: отказать, – после чего состав катит обратно; или когда рассказывали, как маршал с мингрельской фамилией, со звёздами на широких, как доски, погонах, с брюхом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов леса напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывает костяшки и говорит, щурясь от дыма: «Мало! Пущай сидят»; когда рассказывали, клялись, что знают доподлинно, от людей, своими ушами слышавших, глазами видевших, как один мужик, забравшись ночью в кабинет оперуполномоченного, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил загадочной фразой: «Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности». Не поняв, любопытствующий повторил вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ему ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

…Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, я поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель – не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого мгновения и вырвался, саданув дровокола обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонись я чуть ниже, был бы убит. Вообще стоило бы поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем.

Мы в России привыкли жить сегодняшним днём. Мудрое правило. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения – прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра – выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и не зря сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет лакать её снова.

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; да хотя бы и умер. Говорят, все лагеря разогнали. Чушь. Не верю. Лагерное существование есть законный и нормальный образ жизни русского человека, лагерь – это судьба, а слово «судьба» ничего другого, как обыкновенную жизнь, не обозначает. Иные, так просто страшились конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что лагерь у него в душе. Как кромка леса

на горизонте, лагерь маячит и никуда не денется. Не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом – бараком.

В сумерках дровокол сидел на снегу, выплёвывал зубы, красные горячие сопли свисали у меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Я доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной мордой топать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли трёх совсем уже немощных. На станции дожидалась теплушка, так назывался поезд, на котором за десять часов надо было пересечь по лагерной ветке всё княжество, чтобы добраться до больницы.

Лагпункт: вид сверху. Любовь и смерть

Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.
Песнь песней Соломона: 8, 6.

«Живо, живо, поворачивайся, твою мать!» Народ вышел из тьмы на свет. Никто не ведал, в каком краю они очутились, знали только – где-то на северо-востоке. Люди выпрыгивали из тёмных, вонючих вагонов, не товарных и не пассажирских, с редкими зарешечёнными окошками, скатывались по откосу, строились, брели по щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не смел спрашивать. Если бы заблудившийся лётчик очутился в этих пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, казармой охранного воинства, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Всем известно, что времена года сменяют друг друга по-разному на различных широтах нашего отечества. Время течёт неодинаково; у времени бывает мало времени, а бывает много. Пока где-то там неслись, опережая друг друга, годы и десятилетия, в наших местах, как на Сатурне, тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время нетерпеливые нервные стрелки, здесь – толстые неповоротливые обрубки. Сколько лет прошло с тех пор, как совершились события, о коих пойдёт речь? Существует ли ещё княжество? По-разному на этот вопрос отвечают учёныё люди. Предлагаются разные теории. Мы же по простоте полагаем, что да, существует, ибо лагерь бессмертен. Итак, начнём эту песнь по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти справедливость, никому не вредя, никого не поучая. Не поддадимся сладострастнейшему из соблазнов, соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть.

Как сперма любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы извергнуться. Лишь бы отомстить, – кому и за что? За то, что так непролазны болота, безбрежны снега, лес без конца; за то, что тебя родили на свет, не спросясь, хочешь ли ты жить, да ещё где? – в этой стране. Отомстить жизни, – не значит ли в конце концов свести счёты с самим собою.

Семя ненависти живёт в гробах.

Утренние известия. Капитан на вахте. Шествие капитана по лагпункту

О случившемся доложили начальнику лагпункта капитану Ничволоде в шестом часу утра 22 апреля, – как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом присутствовать на разводе по особо торжественным дням. Он стоял на крыльце вахты, в долгополой шинели, в шапке из поддельного меха, со звездой, ввинченной в поднятый козырёк, и опущенными ушами; стоял, высился, обозревая дружину, словно удельный князь, кем он и был, – красный от выпитого, наблюдая за всем, что происходило, величественно-безумным и восторженным взглядом. В сумерках перед распахнутыми воротами, над которыми красовался лозунг и висели выцветшие флаги, дудел оркестр заключённых, нарядчик выкликал номера бригад, когорта стояла, дожидаясь команды, двинулась по четыре в ряд, на ходу расстёгивая бушлаты, вахтёр махал пальцем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку за воротами озарял прожектор, охранял пулемёт. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и ворота закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Ничволода вошёл в помещение вахты.

Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил, когда исчез старший дежурный вахтёр. Князь недавно получил четвёртую звёздочку на погоны, был переведён на крайний северный ОЛП и еще не запомнил фамилий подчинённых. Пропавшего дежурного звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к тому, что уже было доложено, дежурным разрешалось коротать ночь, лёжа по очереди на лавке, он не решился сказать, что спал, когда Карнаухов покинул помещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? – огрызнулся капитан. В 3.00, отрапортовал второй дежурный. Куда? Не могу знать, отвечал надзиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую зону, где, обгоняя его, как раскаты грома, неслась по воздуху весть о том, что капитан обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

Шествие Анны Никодимовой и марш оперативного уполномоченного

Со скрипом, неохотно, словно кому-то в вышних надоело каждый день рассветать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в контору секретарша начальника. Событие, которое повторялось ежеутренне изо дня в день. Дневальные в опустевших секциях, перестав елозить резиновой шваброй по полу, прилипли к окнам бараков; бесконвойные хозвозчики, конь и бочка золотаря, ожидавшие, когда их выпустят за ворота, все повернулись в одну сторону, хлеборез, одна из высокопоставленных персон в зоне, на пороге хлеборезки следил за явлением женщины; сам Вася Вересов, гоминид с жирными плечами, покрытый густым волосом, украшенный лиловыми наколками спереди и сзади, изрыгнул сочный мат, оборвал гудящий звон своей гитары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты для концерта художественной самодеятельности, вещкаптёр, завстоловой, завпекарней, академик-фельдшер, выдаваший справки об освобождении от работы, и лагерный портной Лёва Жид, всё живое, остававшееся в зоне, всё мужское превратилось в зрение и слух, млело от ожидания, – все знали о сошествии в мир секретарши Анны Никодимовой.

Не та отчаянно-робкая, жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, бери выше – баба, Женщина, недосягаемое женское тело, вот кем она была; торопливый стук её сношенных

ботиков по расчищенному дощатому трапу архангельской трубой отзывался в душах, достигал дальних закоулков, но нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала, не чувствовала. Едва только брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, она очутилась в поле высокого напряжения – окружённая таинственным свечением, шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой и толстыми вязаными чулками, и… и что там было ещё на ней; шла под взглядами мужчин, охваченная страхом и непонятным вожделением, мелко шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому льду.

Была оттепель.

Вслед за Никодимовой, немного погодя явился другой балладный персонаж: вышел из проходной и зашагал по трапу оперуполномоченный, иначе кум, Василий Сидорович Щаюк. И это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обитателей; но знаки переменились; высоковольтное электрическое поле уполномоченного искрило; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось.

Опер, в фуражке с голубым околышем, в такой же, как у капитана, как у высших оперативных чинов в Главном управлении лагеря, как у самого Железного Феликса, длинной, путающейся в ногах шинели, маршировал, стуча подковками сапог, и, как всегда при входе в жилую зону, старался приноровиться к своему образу, для которого одиночество, тайна, стук и поскрипывание блестящих сапог, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый трусящий шаг для Анюты Никодимовой.

Кум Щаюк происходил из Белгородской области, его дед, отец и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. Василёк спасся, ночевал на вокзалах, подворовывал, подался в ремесленное училище, но сбежал и оттуда, поступил на милицейские мотоциклетные курсы, позже был направлен на двухгодичные курсы оперативных работников. И уже после курсов попал в почтовый ящик, на головную станцию, единственную обозначенную на географических картах, в таёжных дебрях и верховьях северо-восточных рек.

Сей ящик, невидимый, как дредноут в игре «морской бой», состоял из Главного управления, комендантского лагпункта, собственной железной дороги, трёх лаготделений, примерно полусотни лагпунктов и подкомандировок, где тянули срок семьдесят или восемьдесят тысяч обитателей; а также из лесов, болот, заброшенных лесоскладов, ледяных речек и забытых в тайге деревушек, умирающих вот уже которое столетие; размеры его владений были в точности неизвестны, ящик медленно расползался по раскольничьей тайге, оставляя насыпи заброшенных узкоколеек, гниющие штабеля невывезенного леса, полуповаленные куртины, кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Сидорович Щаюк пообтёрся. Он был глуп и туп, однако развил в себе нюх и за шесть лет работы дослужился от младшего лейтенанта до лейтенанта. На крайний северный лагпункт попал почти в одно время с капитаном. По натуре был мягкий человек и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым выходом, посвистывал, вполголоса напевал «За Сибіром сонце всходить», сладко зевал, не мог заставить себя приняться за дело; тут поскреблись в дверь, кум поднял голову. Вошла Анюта Никодимова в голубом по-весеннему платье с цветочками и даже каким-то бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум, не вставая, потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени продолжалась балетная сцена, Анюта отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в замочной скважине; кум ухмыльнулся, потянулся к ней, тишину нарушил смешок, «ну уж нет», – мяукнула женщина, с видимой неохотой водрузилась на колени к Василию Сидоровичу; этого, однако, было недостаточно; она стала сползать, оперлась локтями о стол, накренилась, расставила ноги; кум поднялся; тут, между прочим, оказалось – как и ожидалось, – что под голубым с цветочками платьем ничего нет.

Баба Листратиха, северная Астарта

В тот же час или около того пробудилась и гражданка Елистратова, коей вошедшее в историю имя было Листратиха. Баба Листратиха проживала в деревне, на землях лагерного княжества: то было полтора десятка изб, скособоченных, почернелых, с острыми углами крыш; когда и кто их срубил, забылось. Так как никакого княжества официально не существовало, то и деревни вроде бы не должно было быть, – это с одной стороны. С другой, были, как и повсюду в нашем отечестве, район, райком, райсовет, сельсовет, был колхоз, всё это обреталось, как минимум, в бумагах областного начальства, сидевшего где-то далеко за лесами. Выходила областная газета, где освещались успехи сельского хозяйства; впрочем, о почтовом ящике ничего не говорилось: для местного начальства это был некий фантом. Для лагерного же начальства область с её районами в свою очередь, представляла нечто абстрактное. Обширное княжество под завесой тайны и неизвестности распространяло вокруг себя дух небытия, и не будет преувеличением предположить, что мы имели дело с единым и неделимым царством теней. Баба Листратиха, однако, не была призраком. Думаю, что я, продолжая этот рассказ, не был неправ, уподобив Листратиху древневосточной богине любви и зачатия.

Сейчас уже не припомнишь, сколько было ей лет или веков, она, как положено небожителям, обрела себя в мифическом времени; но в земной действительности успела перешагнуть возраст, именуемый в народе бабьим веком и о котором говорят: баба ягодка опять; не молодая, но и не старая, широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на круглом лице, пахнущая молоком, лесом, влажным влагалищем. У неё были дети, неизвестно от кого, иные выросли и пропали куда-то, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вязать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Вместе с другими Елистратова ходила на подсочку в леспромхоз, на вырученные рубли закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, в платке и зипуне, неутомимо, неспешно, короткими мерными шагами в рыжих лагерных валенках брела с кошёлкой к посёлку вольнонаёмных, усаживалась отдохнуть на виду. Разопревшая от долгой ходьбы, сбрасывала платок, причёсывалась гнутым гребнем. За день весь одеколон, поступавший в магазин вольнонаёмных, раскупался; и уже совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, услужала ещё кое-чем. Услужала не из корысти, а скорее ради наслаждения, более же всего по доброте и щедрости, из жалости к молодым, стриженым наголо ребятам, которым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду в солдатской столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить по шпалам узкоколейки следом за колонной работяг, мёрзнуть на вышках оцепления, греться у костров. Бывало и так, что воины, по-двое, по-трое, глубокой ночью, с риском, налетев на патруль, загреметь на губу-гауптвахту, пробирались в деревню к Листратихе, в её тёмную избу, в тёплую материнскую глубь. Десять вёрст туда, десять обратно.

Бегство на юг. Начало следствия

Такова – в общем и целом – была экспозиция. Рабочий день начался, но день-то был необычный. Около десяти часов местного времени в кабинет к оперуполномоченному постучался дневальный, позвать к начальнику лагпункта. Кум Щаюк одёрнул гимнастёрку, прошагал по коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши. Не взглянув на Анюту, скрылся за дверью капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника пока что не поднимать шума. Для лейтенанта Щаюка случившееся на вахте было, с одной стороны, как

и для капитана Ничволоды, неизвестно чем грозящей неприятностью, а с другой – шансом. Заметим, что следствию очень бы помогло, если бы оба, капитан и Щаюк, были знакомы с восточной мифологией, а также с Писанием, – мы имеем в виду процитированную выше Песнь Песней. Но они, конечно, ничего такого не знали.

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точней, дезертирство. Странноватая мысль: побеги, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем действительности, подобали заключённым, а не надзорсоставу; но, положа руку на сердце, у кого в наших краях не нашлось бы основания рвать когти куда подальше? Сколь богат язык, доставшийся нам от отцов! Сколь обширен ассортимент речений, синонимичных глаголу бежать. От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол то же или почти то, что услыхал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установлен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «поссать»; следовательно, дрыхнул и не слыхал, когда напарник покинул свой пост. Слышал ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера, в смысле того, что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, к примеру, на юг? Нет, не слышал, хотя… Хотя что? Кому неохота в тёплые края, пояснил допрашиваемый. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шляются вокруг лагпункта, промышляют водкой и трахаются с солдатами? Ты-то сам, небрежно спросил уполномоченный, небось тоже?.. И неизвестно было, шутит он или всерьёз. Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный посвистывал, скрипел пером. Можете идти, промолвил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не удалось, черножопый по-русски еле ворочал языком. К тому же он, видимо, испугался, поняв, что кто-то сбежал из /зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё ж таки видел, как надзиратель с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно потерялся и, даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

Прошёл один день. Продолжение. Письма заочной любви

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу: для проверки вчерашних показаний. Был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью из помещения. Надзиратель, почуяв ловушку, признался снова, что выходил. С какой целью? Ни с какой; поссать. В котором часу? Не успел он ответить, как кум спросил, словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, звонил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону: был применён профессиональный приём разведчика – задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, с целью огорошить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь прощупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там договаривался. На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что кум не знает. С ужасом вахтёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? Уж не в сговоре ли со сбежавшим?

«Звонил, – пролепетал вахтёр, – на электростанцию».

«Ага, – крякнул Щаюк, – о чём же они говорили?

Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Кольцом называлось (как мы уже знаем) наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей

проволоки поверх высокого тына плюс фонари через каждые десять метров. С угловых вышек вдоль забора бьют прожектора.

«Почему тускнело?»

Свидетелю было велено ждать (закуток рядом с кабинетом, дверь выходит на заднее крыльцо), дневального послали за механиком. Личный дневальный оперуполномоченного, аккуратный ладный мужичок лет пятидесяти, исполнял различные обязанности, среди которых уборка и мытьё пола в кабинете – не самые главные. Погаденький старик, само собой, однако есть разница между вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Дневальный много знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мрачное мистическое сияние, окружавшее оперуполномоченного, отражалось на нём, как безжизненная планета отражает свет Солнца.

Таинственная тень кума взошла на крыльцо барака, из холодного тамбура свернула в секцию АТП, то есть административно-технического персонала, – койки вместо вагонных нар, – и велела тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. И тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хитрый домик. Ибо явление верного мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание дел в папках с грифом ХВ, что, как известно, значит «хранить вечно», иначе «Христос воскрес», было главной частью его работы, а на допросах – особым следовательским приёмом. Подследственный должен был понять, что листают его грозящее многочисленными бедами дело. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович романтически переписывался. В письмах он выдавал себя за инженера на большой стройке, вероятно, оборонной, отсюда следовало, что он не может сообщать подробности. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое курносое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавчиками-фонариками и глубоким вырезом, из которого выглядывала складка грудей. Самое привлекательное в ней было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать на юг. Она даже намекала, что могла бы, раз он так занят, приехать повидаться. Из прежних писем Щаюк узнал, что она окончила педагогический техникум и «не занята». Выражение, означавшее, что у неё нет ни мужа, ни ухажёра. Он собирался ответить, что у него тоже никого нет, но приехать к нему пока что невозможно; хотел написать, что по вечерам, усталый после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней.

Сзади на обороте фото была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: «Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе от той, которая любит верно». Василий Сидорович перевернул снимок, снова увидел круглое лицо и серёжки в ушах, привлекательную складку в вырезе платья и попробовал представить, как она выглядит вся.

Перекрёстный допрос

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пятнах, сумрачный темно-серый лик византийского святителя, – механик весь пропитался машинным маслом.

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей, дивизия в полном составе попала в окружение. В числе немногих он выжил, вернулся из немецкого лагеря военнопленных, работал по специальности на заводе, в августе 45-го, по примеру других, подделал документы, чтобы не подпасть под репатриацию; был разоблачён и отправлен на приемопередаточный пункт Бебра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину.

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо понимать? После смены, мрачно сказал механик. Он соображал, что вопрос задан с понтом, чтобы осла-

бить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-1, пункт «б», – нарушение режима. Механик знал, что все слова кума – ложь, все вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что этому зверью нельзя протягивать мизинец – откусит всю руку. Кроме того, знал, что он незаменимый специалист и чинил проводку в квартире самого князя; и кум это знал.

«Так, – сказал Щаюк, – значит, был в ночной смене, почему плохо работаете?

«Работаем», – возразил механик.

«А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?»

«Какой такой саботаж; ничего не тухнет».

«А это мы сейчас проверим, – молвил Василий Сидорович и слегка присвистнул. Из каморки, как пёс на зов хозяина, появился свидетель для перекрестного допроса. Подтверждает ли он своё показание о том, что… Вахтёр испуганно закивал. Кум вперил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.

«Который из двух, этот?»

«Нет, – сказал механик, – другой. Голос не такой. Ругался».

«Ага; значит, действительно потухло».

«Да не потухло, – сказал с досадой механик, – если бы потухло, тут такой бы кипеш поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар подтвердит».

Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вахту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефону в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать истинную причину. Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в секцию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «секретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия пропажи Карнаухова: запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь скрывается. Капитан Ничволода ничего не сказал. Капитан, как всегда, был нетрезв, но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анюта, прижимая для виду к груди пустую картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Ничволода, с одной стороны, побаивался кума, да и согласно субординации, оперуполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать, в общем-то, придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в Оперотдел Главного управления. Но с другой стороны, ни куму, ни князю не хотелось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать делу ход. Главное, избежать осложнений свыше. Чего доброго, нагрянет комиссия из управления.

…Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно было себе представить, что, выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, надзиратель, которому всё остоёбло, пешком, никем не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До комендантского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила штатскую одежду, и сиганули вдвоём на юг. Как математик предпочитает наиболее простое решение задачи, так и уполномоченный принял наименее хлопотное и самое правдоподобное решение.

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаухов дезертировал и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объявят всесоюзный розыск.

«Добре», – сказал капитан.

Оракул. Запахло мистикой

Между тем у князя имелся на крайний случай собственный метод расследования. Наутро, это был уже третий день, князь дал команду, на разводе выдернули из бригады учётчика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение.

Приведённый нарядчиком, экзотический и огненноглазый, продолговатый и тощий мужик в бушлате самого большого размера и вислозадых ватных штанах сдёрнул со стриженой под ноль головы то, что когда-то было шапкой.

«Мм-да», – пробормотал капитан Ничволода, оглядев длинного мужика сверху вниз, от лилового черепа до косматых, раструбом книзу валенок «б/у», то есть бывших в употреблении. Князь и сам был, если можно так выразиться, б/у.

«Зачем позвали, знаешь?»

Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.

«А?» – громыхнул капитан.

«Там ошибка, – сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе перед князем. – Мы не греки».

«А кто ж вы такие?»

«Мы вавилонцы».

«Чего?» – сощурился князь.

«Вавилон. Было такое царство».

«Угу. И куды ж оно делось?»

Айсор развёл руками, возвёл очи горé.

«Ладно, один хер. Говорю, слыхали о тебе, о твоих талантах».

Тощий мужик безмолвствовал.

«Чего молчишь?»

«Гр'ын начальник… я что, я ничего…»

«А вот надо, чтобы было чего!»

Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём нуждаются; проглотил воздух, переступил валенками.

«Вот так», – сказал наставительно капитан.

На всякий случай мужик проговорил:

«Если надо…»

«Надо! – громыхнул капитан. – Едрить твою».

Халдей приободрился:

«Можем попробовать».

Капитан сменил гнев на милость.

«Добре. А ты (присутствующему нарядчику) иди, работай…»

Нарядчик и так знал, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову.

«Сочини ему расписку о неразглашении, пущай подпишет…» Анюта удалилась.

Было дано лаконичное разъяснение: дескать, то-то и то-то. Халдей ел глазами начальство.

«Пропал, едри его, – добавил капитан. – Ушёл, и с концами. Задача ясна? Куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там».

Учётчик отправился в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял запах как бы поджаренных чёрных сухарей. Сушильщик, обитавший в отдельной каморке, был его соотечественник, по-лагерному «земéля». Поговорили оба на своём наречии.

Халдей стоял перед капитаном, ожидая дальнейших распоряжений; капитан кивнул. Айсор извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке бушлата. Это что ж такое, спросил начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. Древние карты, сказал гадатель. Осво-

бодили место на столе, капитан Ничволода с любопытством разглядывал солнце с лицом старика, бабу с грудями и рыбьим хвостом, месяц с крючковатым носом, двух сросшихся пацанов, змею с крыльями, похожими на плавники. Гадатель объяснил: вот зелёные жезлы, вот голубые мечи, и так далее. Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя. Прошептал что-то, поцеловал карты.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?»

Айсор не то кивнул, не то покачал головой, хранил безмолвие.

«Давай, рожай».

«Вот, – сказал айсор и указал на красную масть. – Огонь».

«Чего?»

«Вижу. Огонь вижу», – повторил айсор.

«И всё?»

«Всё», – ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?

«И больше ничего?»

Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.

«Та-ак», – грозно сказал князь и уселся, предварительно согнав мужика со стула. Айсор поспешно собирал карты. – «Вот мудак, так уж мудак, – задумчиво проговорил капитан. – Предсказатель сраный… Вали отсюда!»

Он вызвал Анюту:

«Гони этого армяшку».

И опять-таки поступил опрометчиво.

Жизнь как судьба. Обмен мнениями между мнимым беглецом и механиком. Семяизвержение ненависти. И снова снег

Как объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для того, чтобы навредить самим себе? Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто всесильное превыше начальств и властей, и это безымянное Нечто, против которого не попрёшь, с которым ничего не поделаешь, называлось коротким словом: жизнь. Такая, стало быть, жизнь. Отдав должное проницательности оперуполномоченного, следует всё же заметить, что не стоило особо напрягать ум, подозревать сложный проект дезертирства, бегства на тёплый юг или что-нибудь такое, а нужно было взять за жопу (без этих речений здесь, увы, не обойтись) секретаршу. Любопытно, что бабий нюх Анны Никодимовой в какой-то мере почуял, откуда дует ветер.

«Бригада аля-улю, – рявкнул, входя в сарай, сержант Карнаухов. – В бур захотели?»

Аля-улю означало всё кроме ударной бригады, а бур, то есть барак усиленного режима, – подсобную тюрьму в зоне.

Механик, с гаечным ключом в руке для виду, – дескать, работаем, стараемся, – показался из-за потного лязгающего агрегата, загромоздившего высокий сарай электростанции.

«Дрова завезли совсем сырые, гр'ын начальник!» – кричал, стараясь перекрыть грохот, механик.

Перед открытой топкой полуголый, оранжевый, лоснящийся пóтом кочегар в тряпичных рукавицах висел на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, рассыпая искры. На часах под двускатным потолком было без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного на вахте.

Сержант заглянул за агрегат.

«Так, – сказал удовлетворённо. – Ага-а! А это кто такая?»

Женщина на топчане, – для двоих мало места, разве только друг на друге, – восседала, расставив ноги, без платка, без телогрейки, в старой вязаной кофте, юбке и валенках; от сиде-

ния живот у бабы Листратихи выступил вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми блестящими глазами она уставилась на дежурного.

Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу. В это время раскрылись низкие воротца, дровокол – это был я, певец и летописец этих времён, как легко догадаться, вернувшийся из больницы на родной лагпункт, – вкатил по рельсам тележку, груженую дровами.

Сзади машина-Молох не так шумит.

«Ну чего ругаешься, начальник, – фамильярно сказал механик. – Кто такая… Погреться зашла».

Карнаухов рычал, что завтра же подаст рапорт.

Усмехнувшись, механик спросил:

«Может, самому охота? Мы отойдём».

Сержант стоял, приняв величественный вид, в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелёном бушлате. Жизнь его, «такая жизнь», с недавних пор обрела, наконец, устойчивость. Два слова о Карнаухове. Его отец был убит на войне. Четырнадцати лет, в школе-семилетке, в городке, где мать работала в конторе «Заготзерно», Карнаухов будто бы участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного класса. Суд установил, что он сам ничего не сделал, отпустили на поруки, но едва лишь он вышел из помещения райсуда, как был жестоко избит компанией во главе с братом девочки. Месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала невыносимой, переехали на Алтай; и дальше его носило с места на место, покуда, отбыв службу в армии, в звании сержанта, Карнаухов не очутился в наших краях, где и сделался сам властью, постиг сладость власти. И теперь устами Карнаухова говорила она, сама власть.

Предложение попользоваться женщиной, по всему судя, особенно задело сержанта. «А ну, повтори, – сказал он, прищурившись, – повтори, что ты сказал… Самому охота… Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист…» Ничего не ответил темноликий, как икона, механик, лишь устремил влюблённый взгляд на сержанта.

«Завтра будете разговаривать в другом месте…» – пригрозил Карнаухов, не подозревая о том, что никакого завтра для него уже не существовало. По-прежнему величественный, он оглядел свысока всех, шагнул было к выходу. «Погодь, начальник… – ласково сказал механик. – Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?..»

«Ты это брось!» – строго сказал Карнаухов, и сперва было непонятно, имел ли он в виду раболепный тон механика или инструмент в его руке. «Ты чего это, ты чего. Да я пошутил…» – бормотал сержант, пятясь, и почти непроизвольно схватился сзади за кобуру.

«Чего, бля ничего, – проскрипел механик. – Пошутил, да?..»

Бывают такие мгновения, начиная с которых люди уже не распоряжаются собой, всем правит и за всё отвечает жизнь. Скажут: судьба! Ибо судьба, античная Ананке, не правда ли, – синоним жизни. Сержант Карнаухов лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстый рот. Механик швырнул на пол тяжёлый гаечный ключ. Кочегар стоял, как каменный, держа, словно копьё, кочергу. Ночь приблизилась к половине, снаружи начался снегопад.

В пещи огненной. Вознесение Карнаухова

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное депо, магазин, казарму, на огни и вышки зоны, на электростанцию, откуда доносился глухой непрерывный рокот. Снег покрыл леса, круглолежневые дороги, кладбища пней и весь лагерный край, о котором никто точно не знал, где его границы.

«Чего стоишь, ебёна мать. Давай шуруй!» – сказал, точно рыгнул, механик, и кочегар отвернул засов железной дверцы, принялся заталкивать в топку дрова.

Женщине: «А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отвечать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?»

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.

«Вот так здóрово, не было печали, – задумчиво промолвил механик. – Чего ж мы с ним делать-то будем?»

Воцарилось безмолвие. Дровокол сосредоточенно моргал, стоял перед своей тележкой. Кочегар, жилистый мужик с длинными ручищами и военно-морскими наколками на плечах, ждал перед закрытой топкой.

«Чего сидишь-то? – продолжал механик. – Подотри. И чтоб духу твоего здесь не было…»

Баба Листратиха сползла, наконец, с топчана. Что-то промелькнуло в её глазах. «Туды его», – произнесла она неожиданно спокойно. И показала глазами.

Ответом всё ещё было молчание, лишь один механик вопросительно взглянул на неё. Спохватившись, Листратиха подоткнула юбку, нашла масляную тряпку. Опустившись на колени, оперлась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа. Тем временем механик зачерпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. Вдвоём с дровоколом подтащили сержанта к бушующему агрегату. Кочегар предложил распилить. Так войдёт, отвечал механик. «Длинный, ети его…» – с сомнением проговорил механик.

Он обернулся снова на Листратиху, подавшую совет, по-прежнему невозмутимо елозившую тряпкой.

«А это куда?»

«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман. Пустую кобуру вместе с жирной тряпкой – в топку.

Кочегар надавил кочергой, длинные полуобгорелые дрова выставились из топки, поехали на пол.

«Легче, ты!» – загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытягивал руками в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гробнице. «Шапка!» – крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат. Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на манометр. «Твой рот – ебал! Тухнет! Кольцо! – вскричал он. – Сейчас прибегут!»

Вперёд, вперёд, туда, сюда, – ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть кочергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёрный светящийся остов, долгие ноги в кирзовых сапогах торчали наружу.

«Чего делать будем?»

«Чего… ничего».

«Отпилить их», – подал голос дровокол.

«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным матом, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лязгнул задвижкой. Лицо его скосоротилось, сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробормотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет…»

Оба имели в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась электростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площадку, усыпанную опилками, запорошило снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёрном небе, куда вознёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже говорилось, оттепель.

Дровокол развалил колуном мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча кабель, подтащил электропилу «Вакопп». Дрова были плохие, еловые, придавил их ногой. Пила застрекотала, как пулемёт.

Куда струится время? Эпилог

Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь. Никуда оно не струится.

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми?

Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. Дровокол был ещё жив, когда спустя некоторое время был вызван как малосрочник на комиссию по условно-досрочному освобождению, произошло это через два года после того, как до наших мест дошло невероятное и неправдоподобное известие, будто околел Великий Ус. Дровоколу выдали справку об освобождении с грифом «Видом на жительство не является», запрещением прописки в областных городах и разными сведениями для будущего волчьего билета. Дровокол несколько лет подряд, чуть ли не каждую ночь, видел сны, один из которых – предлагаемая поэма.

Но на самом деле, куда девался Ус, неизвестно никому.

Первое время отлеживался в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп на время летаргическим сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после того, как была обработана, в который раз, бабусей, и всю долгую дорогу, сорок вёрст, истекала кровью; привезена в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, однажды увидел у себя в кабинете, на полу и подоконнике, мелких зверей, не то мышей, не то насекомых; нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча зубами от озноба, в комнату вбежала Анюта Никодимова. Что произошло дальше, не ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной: удалось узнать, что, отбыв срок, он вернулся в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался до Ашшура, пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару пошёл в гору, к концу жизни, происходило это уже в другом веке, сделался придворным звездочётом царя Ашшурбанипала.

Кум Щаюк получил третью звёздочку на погоны. Дело о неразысканном сержанте, однако, продолжало тлеть, из Оперотдела сыпались запросы, приезжала комиссия. Щаюк подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке на Урале; бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу.

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил старого знакомого, сержанта Карнаухова. Бывший сержант получил червонец за самовольное оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на нарах резались стирками, то есть самодельными картами, в стос, Карнаухову не везло: проиграл френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжённую у костров телогрейку и пайку на десять дней вперёд. И уже ничего не было жалко, игра пошла по-крупному, проиграл место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями, под утро, перед самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, хлеборезкой, с бараками и буром, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпобытом, с оперуполномоченным, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Ничволодой.

Князем слава и дружине! Аминь.

Вместо заключения

Сказано: Ars longa, vita brevis. Искусство – дело долгое, а жизнь наша коротка. Век только что закончился, мы, его свидетели, слишком близоруки, чтобы его обозреть. Над нашими суждениями будут посмеиваться. Нужно, чтобы пришли другие поколения; нужна дистанция.

Но мы последние, кто жил в этом веке, кто видел своими глазами то, чего никто уже не увидит. Мы – те, кто выжил, кого не убила война, кто не умер от голода, не погиб под развалинами городов, кого не расстреляли, не забросали глиной на лагерных полях захоронения, не сожгли в печах Освенцима и Дахау.

Я никогда не понимал людей, которые заявляли, что они жили со своим народом, славили величие нашего времени, гордились тем, что шагают с ним в ногу, утверждали, что живут «в истории»; я не понимаю, как можно жить в такой истории. Литература противостоит истории. Литература дискредитирует историю. Но этот злой демиург, le mauvais démiurge Чорана, дискредитировал сам себя. Я хотел бы, как Стивен Дедалус, очнуться от кошмара истории. Легко сказать…

Учит ли она чему-нибудь? Что такое прошлое? Мы жили в царстве абсурда. Это была чудовищная эпоха. Явились концентрационные лагеря. Явилось тоталитарное государство. Народились «массы», для которых вездесущая пропаганда, оснащённая новейшей техникой массовой дезинформации и технологией всеобщего оглупления, заменила религиозную веру. Расцвёл культ ублюдочных вождей. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции. Мало было одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Можно было в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и гения многих поколений. Можно было истребить с помощью специально сконструированных газовых камер шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. Во имя чего?

Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства, двадцатый принёс отчуждение от истории. Перед лицом истории ты ничто. Ты абсолютно бессилен. Мы все, как муравьи в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалёванной, словно труп в палисандровом гробу, истории.

Это было столетие окончательного посрамления исторического разума. Век ожившего мусульманского средневековья, и гнусных национально-освободительных движений, и демографического взрыва, и экологических катастроф, и термоядерной бомбы.

Век миновал – не время ли подбить итог? Соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Собрать по кусочкам эпоху, как скелет ископаемого ящера… Скрепить проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Но это все ещё муляж; вдохнуть в него живую жизнь могла бы только литература.

Это должен был сделать синтетический роман – не от слова «синтетика», а от слова «синтез». Но он не написан.

Нам твердят, что великие повествования ушли в прошлое. Современный романист, с его фасеточным зрением, не в силах объять эпоху единым всевидящим взором. Эпоха похожа на отбивную, по которой так долго колотили молотком, что она превратилась в дырявый лоскут. Эпос – достоянье ушедшей поры, когда герой романа был субъектом истории; сейчас он только её объект. Крушению веры в историю влечёт за собою крах полномочного автора. Таков он, этот писатель – апатрид классического романа.

Нам говорят – он сам себе говорит: литература – безнадёжное занятие. В громе и мусоре времени, в потопе избыточной информации, среди инфляции текстов такой роман, если и был

бы написан, потонул бы, никто бы тебя не услышан. И, однако, он должен быть написан. Роман, который подвёл бы черту под ушедшим столетием и, сохранив дыхание эпоса, одновременно стал бы новой вдохновляющей мифологией. Такой роман сумел бы радикально реабилитировать униженную человеческую личность перед лицом зловещих фантомов – Нации, Державы, Истории.

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только личной, тайной, неповторимой, внутренней жизнью человека, что делать литературе, для которой нет великих и малых, и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым? Ответ: нести свой крест, как говорит чеховская героиня.

Литература существует ради самой себя, другими словами – ради человека. Литература абсолютна: небеса пусты; человеческая личность – её абсолют. О, эта риторика свободы… Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или народ, но в первую голову человек сам по себе, просто человек, хоть он и живёт в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован к государству, которое сочло его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием. Человек заключён в своей свободе, – пусть же литература напомнит ему об этом. Сопротивляться! Литература есть воплощение человеческого достоинства. В этом её скрытый пафос; в этом, может быть, и её последнее оправдание.

Мюнхен, август 2008

Часть III, эпистолярная
Избранные письма к друзьям

Об эпистолярной прозе
Вместо предисловия

В XVII веке Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де Севинье, чью жизнь с детства и юности омрачали утраты (ранняя смерть матери, отец пал в сражении с англичанами, беспутный муж убит на дуэли), долгими часами одиноко бродила в саду перед своим бретонским замком и, возвращаясь к «скуке кресла», охваченная тоской разлуки с дочерью, создала новый литературный жанр – почтовую прозу. Тысяча сто писем написанных набело почти без черновиков, мысленный разговор с дочерью, графиней Граньян (ответные письма не сохранились), обессмертили маркизу, положив начало традиции, не увядшей поныне. Готфрид Лейбниц оставил 15 тысяч писем, изрядную долю которых составляют философские трактаты. Роман в письмах, «классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный», излюбленный жанр европейской прозы семнадцатого и восемнадцатого столетий, – всё-таки, говоря по-верленовски, – только литература. Личные письма предназначаются для адресата, не ожидающего получить художественное произведение. Гениальное изобретение мадам де Севинье, казалось, заведомо было обречено разделить судьбу традиционного романа в письмах. Ничуть не бывало.

Моё отрочество совпало с войной и эвакуацией. Я мечтал стать писателем. Однажды я получил сложенное треугольником послание из далёкого уральского города от троюродного дяди, он выражал желание затеять со мной литературную переписку. Я с восторгом откликнулся на это предложение; переписка завязалась. Мой корреспондент был удивлён, узнав, что я не оставляю себе черновиков. Несколько лет спустя – война окончилась, и мы вернулись в Москву – я был арестован, крысы в погонах нашли и утащили все письма. Так завершился мой первый опыт переписки на темы, далёкие от бытовой обыденности. Эмиграция в Германию побудила на свой лад последовать примеру незабвенной маркизы. Живя много лет на чужбине, я сочинил и послал друзьям столько писем, сколько не писал прежде за всю жизнь. Часть этой словесности решаюсь предложить читателям.

Борис Хазанов Мюнхен, 2018

К Ольге Петровой[2]

Мюнхен, 22 апр. 1998

Дорогая Оля, здравствуй! Какой радостью было получить письмо от тебя. Я помню наши университетские времена во всех подробностях, и вот сейчас всё это всколыхнулось. Буквально полвека прошло с тех пор. Помнишь ли, как мы бродили вдвоём вечерами по городу, и ты читала мне стихи, это было в самом начале учёбы, на первом курсе. Ты читала наизусть Ахматову и Есенина, «Слава тебе, безысходная боль» и «Свищет ветер, серебряный ветер», стихи, которые я тогда слышал впервые. А иногда ты звонила вечером из университета мне домой, и говорила, что тебе скучно. Помнишь ли ты нашу знаменитую балюстраду, возле которой мы околачивались целыми днями? И самый первый день занятий, когда Павел Матвеевич Шендяпин показался мне, да и всем нам, невероятно строгим, даже суровым, и только потом малопомалу оказалось, что это была добрая и удивительно отзывчивая душа. Мне было 17 лет, теперь 70, – каково? Когда я теперь думаю о временах сразу после войны, о надеждах и ожиданиях, и об этом чувстве, почти уверенности, что будущее уже на пороге и завтра начнётся необыкновенная жизнь, я вижу, как жизнь насмеялась над нами, и не только надо мной, но над всеми нами. То, что потом случилось, было отвратительно, и ещё долгое время спустя на университете стояло для меня чёрное клеймо. Но и это чувство уже давно прошло, и сейчас мне кажется, что это были, может быть, главные годы жизни.

О тебе я знал только, что ты вышла замуж и уехала куда-то далеко; позже кто-то говорил, что ты живёшь в Симферополе. Моя жизнь тебе, кажется, известна: я не имел права жить в Москве, поступил в Калинине, нынешней Твери, в медицинский институт, накануне последнего курса женился. Думаю, что если бы не моя жена, я давно бы уже врезал дуба. Около 18 лет я был врачом, начал работать ещё студентом, потом врачевал в деревне, потом в Москве, даже защитил диссертацию по медицине, неизвестно зачем. Но медицина сильно изменила мою жизнь и самочувствие. Довольно долго я пытался сидеть на двух стульях, работал в больницах и скрипел пером на досуге, на дежурствах и т. п., впрочем, не пером скрипел, а стучал на машинке; эту машинку у меня отняли при обыске, я сумел её вернуть, потом ко мне снова пришли, потом был устроен взлом квартиры и прочее в этом роде. Тем не менее, как и тогда, в 1949 году, было бы несправедливо утверждать, что я пал невинной жертвой: с точки зрения этих людей и этого государства я был в самом деле преступником. Уехал я с женой и сыном в августе 82 года, даже не столько потому, что мне грозило повторение всего, сколько оттого, что всё – и не только политические обстоятельства – обрыдло до такой степени, что смотреть ни на что не хотелось. Эмиграция в те времена была равносильна физической смерти, но даже если бы можно было повернуть оглобли, я знал, что никогда и ни за что больше в эту страну не вернусь. Хотя я был, между прочим, последним в моём семействе, кто согласился с мыслью о том, что надо рвать когти.

И это тоже прошло. Я был в Москве четыре раза. Видел Яшу и многих наших. Удивительные были встречи – и как жаль, что не было тебя, Оля. Между тем я привык жить в другой стране, привык к Германии и Европе, и в России чувствую себя лишь гостем. Но русский язык не забыл и даже, как ни странно, всё ещё помню – более или менее – латынь (греческий, правда, сильно подзабыл). Как я благодарен судьбе, – вопреки всему, – что она привела меня когда-то на классическое отделение. Между прочим, статейка о Бродском, которую ты вспомнила, первоначально имела латинский заголовок: Sub specie corvorum. Медицина моя осталась

[2] Ольга Александровна Петрова, профессор классической филологии Таврического университета.

в прошлом, теперь уже далёком. Я сочинил за это время много всякой ерунды, которую выдаю за романы, рассказы, этюды и т. д.; кое-что выходило и в нашем отечестве. Я довольно много путешествовал. У меня есть полуторагодовалый внук в Чикаго, где работают мой сын и его жена (оба врачи), иногда мы приезжаем к ним в гости. Такие дела. Дорогая Оля, напиши мне подробнее, как ты живёшь. Ведь ты часть этого огромного континента памяти. Поклон твоему мужу.

Мюнхен, 27 июня 1998

Дорогая Оля, я получил письмо в конверте с красивым гербом, я к геральдике неравнодушен, но оказалось, что это не герб Симферополя. Представления мои о Крыме связаны главным образом с двумя-тремя поездками на Южный берег, однажды я пересёк весь полуостров в машине и лишь проезжал мимо Симферополя. Ночевали в Бахчисарае в какой-то гостинице, там находился проездом один пожилой еврей, торговый агент или что-то в этом роде, ночь была лунная, серебряная, голубая, из окна был виден, как в опере, тёмный дворец ханов. Но когда я сказал, что мы хотим завтра осмотреть дворец, человек этот махнул рукой и сказал кисло: «А! барахло». Дворец оказался хоть и не барахлом, но, очевидно, был давно и безнадёжно разграблен, зато фонтан был на месте.

Сливовые деревья и здесь у нас попадаются, зато абрикосовых я нигде, кажется, кроме Израиля, не видел. В России я всегда думал, что абрикосовые деревья гораздо выше, а сливовые – наоборот, что-то вроде кустов. Я никогда не ел спаржу и думал, что это такие макароны. Артишоки представлял себе в виде орехов, а немцев – тощими белобрысыми мужиками и некрасивыми женщинами.

Чёрный дрозд, хм… Оба дрозда, чёрный и серый, называются по-немецки, если ты ещё не забыла этот язык, двумя разными словами. Может быть, тебе попадалась новелла Роберта Музиля «Чёрный дрозд», я только здесь понял, почему выбрана именно эта птица. Она прыгает рядом с тобой, когда идёшь вдоль газона, или смотрит на тебя с балкона, и всегда у этого дрозда, в самом деле, чёрного, с жёлтым клювом, такой вид, как будто он тебе собирается рассказать анекдот.

Цезарь – это пёс?

У нас только один раз была собака, которую мы взяли для Илюши. Привезли её от пожилых хозяев, искавших возможность подарить кому-нибудь собаку, так как они уже не могли её содержать. Это был колли, пёс изумительной красоты и аристократического воспитания, очень спокойный, чрезвычайно вежливый, корректный и слегка надменный. Он на свой лад протестовал против переселения: ничего не хотел есть. Равнодушно смотрел на великолепные вещи, которые ему предлагались. В конце концов пришлось везти его обратно. Я сделал говорящую собаку действующим лицом в двух своих романах. В одном это беспризорный пёс, сильно заблатнённый и несчастный. В другом – «коадъютор общества охраны памятников старины», люмпен-интеллигент, старый, пьющий и тоже порядком опустившийся.

Отвечаю на твои вопросы. Вера «Дмитриевна» вместо Иосифовна – это, конечно, оговорка, я эту Веру Иосифовну, которая на вопрос, печатает ли она свои произведения, очень неглупо отвечает: «Зачем? Ведь у нас есть средства», помню хорошо и даже люблю.

С сыном Ильёй мы не переписываемся, а перезваниваемся; несколько раз бывали у них там. Теперь собираемся полететь в Чикаго в сентябре. Внука зовут Яша. (Соседские девочки на улице называют его Джейки.) Яков – имя, удобное для всех языков, с которыми он уже сейчас имеет дело. У него немецкие бабушка и дедушка, ещё одна бабушка, то есть Лора, – русская и еврейский дед, то бишь я. Он родился в Америке, это значит, что он гражданин этой страны. Но одновременно у него будет и германское подданство, как у родителей. К счастью, все эти дела его нисколько не интересуют. Он родился в ноябре позапрошлого года, следовательно, осенью

отметит свой двухлетний юбилей. Он ведёт довольно разнообразную и насыщенную жизнь, ездит в детский сад, где проводит время в обществе двух или трёх таких же, как он, головорезов и воспитательницы негритянки по имени Синтия, очень милой женщины, с которой он много раз фотографировался. Вообще фотографий много, и если Сузанне, его мать, останется верна этой страсти снимать его, нам придётся купить трёхстворчатый шкаф для фотоархива. Яша говорит на диалекте, в котором пока невозможно распознать ни один из известных мне языков. По всей видимости, у него будет два родных языка, английский и немецкий, что же касается русского – увы…

Живём мы, конечно, не в особняке и не в коттедже – или как там это называется, – такие вещи бывшим эмигрантам не по зубам, – а в обыкновенной квартире. Какие цветы в этом году посажены? Сказать трудно. Огромный горшок или, вернее, бочка ромашек. Фуксия, кажется. И ещё много разных, но я, к сожалению, забыл, как они называются. Всё это вегетирует частью в сосудах, частью в навесных горшках на балконе, который окружает всё наше жильё, хотя обитаем мы на первом этаже. Вокруг балкона вьётся плющ, за ним кусты, деревья, улица. Огромная липа пахнет так сильно, что я всякий раз вспоминаю детство, наш московский переулок и сад чехословацкого посольства за каменной стеной, где цвели эти самые липы. Бываешь ли ты в Москве? Что ты сейчас делаешь?

Будь здорова!

Мюнхен, 24 июля 98

Дорогая Оля, то, что письмо из Германии могло дойти за три дня, граничит с чудом и, в сущности, есть чудо, которому нет объяснений. Разве только лишний раз убеждаюсь, что украинская почта функционирует несравненно лучше отечественной. Сто лет назад, когда почта по нынешним меркам была образцовой, Достоевский в Бад-Эмсе получал письма от Анны Григорьевны из Старой Руссы на пятый день. Но три дня! Твоё письмо тоже, как видишь, доехало довольно скоро.

Во всей Европе жара, дожди не снижают температуру, но зато не дают пожелтеть буйной зелени. Народ тоже старается держаться поближе к воде, там, где её находит. Время от времени мы ездим на озеро, которое находится от нас примерно в десяти минутах. Но это почти город, а в былые времена купались и катались на озёрах настоящих, больших, средних и маленьких, которых в Верхней Баварии великое множество, иногда снимали жильё близ каких-нибудь зелёных и тенистых берегов. Одно из баварских озёр, Tegernsee, оставило след в русской литературе, но об этом не говорилось в наших учебниках: я имею в виду стихи Тютчева якобы о русской природе. Он прожил в Мюнхене 14 лет и был дважды женат на местных красавицах. Любишь ли ты Тютчева? Кого ещё?

Я не знаю, проиграла ли ты или выиграла оттого, что в библиотеке нет моих сочинений, говорю это, ей-богу, без всякого кокетства, присущего литераторам не меньше, чем барышням. Я не то чтобы немецкий писатель, вовсе нет, ведь я пишу по-русски и почти исключительно о России. Но можно предположить, что российский читатель тотчас заподозрит в моих писаниях чуждое перо. Так уж получилось, и ничего не поделаешь. Правда, живи я в России, я бы тоже не мог писать о том, что видел бы за окошком.

Да и вообще: есть ли ещё охота что-нибудь читать?

Кажется, я писал тебе, что виделся в Москве несколько раз с Яшей и нашими девочками, которые стали теперь бабушками, – и ужасно жалел, что тебя не было. Видел однажды и В.Н. Ярхо, хотя никогда прежде не был с ним знаком. Кажется, он отбыл в Канаду. Иных уж нет, а те далече.

Ты спрашиваешь о пенсии. В конце войны, перед университетом, я был рабочим на газетно-журнальном почтамте на улице Кирова, мне было 16 лет. Потом работал в лагере и

после лагеря много лет. Всё это, разумеется, пропало. Я не был исключением. Наше бывшее государство присвоило себе огромное множество пенсий, но богаче от этого не стало, подобно библейским коровам, приснившимся фараону, которые пожрали тучных коров, но сами не прибавили в весе. В Германии я успел до пенсионного возраста проработать (и платить взносы в пенсионную кассу) лишь восемь с половиной лет, и поэтому пенсия моя очень хилая. Мне немного подкидывает учреждение при Президентском совете в Бонне, которое называется Künstlerhilfe. После того, как закрылся наш бывший журнал (коего я был со-основателем и редактором), главным кормильцем стала Лора.

«Кончаю, страшно перечесть». Жарища несусветная. Посылаю тебе для развлечения маленький текст – речь, которую я толкал при вручении премии в славном городе Гейдельберге (правда, она была прочитана в немецком переводе). Свои романы или рассказы я кропаю, конечно, на более земные темы. Но зато это короче.

Мюнхен, 22 авг. 1998

Дорогая Оля, твой корреспондент, конечно, не заслуживает таких похвал, но какой писатель не возрадуется, услыхав дальний голос сочувствия? Я говорю: дальний, потому что, хочешь не хочешь, а Россия отодвинулась далеко. Между прочим, на этих днях исполнилось 16 лет, как мы попрощались с отечеством – навсегда, как тогда казалось. Но и теперь новые впечатления от приездов в последние годы не могут перечеркнуть старых воспоминаний. Напротив, те далёкие времена так прочно засели в памяти, что кажутся куда реальней: и тебя, и других, всех наших, кого я встречал после стольких лет и кого не встречал, я по-прежнему вижу такими, какими мы были пятьдесят лет назад.

А.Н. Попов преподавал, как ты помнишь, не в нашей группе, и мы его мало знали. Однажды я был на его занятиях, у него был особый молниеносный метод преподавания, он задавал вопросы каждому, на которые нужно было отвечать немедленно, и это держало всех в постоянном напряжении, в любой момент палец учителя мог обратиться на тебя. О том, что он любил графа Алексея Конст. Толстого, можно было догадаться по его греческой грамматике, той самой, в голубой обложке, где половина примеров из русского были цитаты из А.К. Толстого. Как-то раз, это было через много лет, я приехал в Москву из деревни, где я работал, и в метро, в газете, которую держал в руках сосед, увидел извещение о смерти Радцига. Я отправился на панихиду в зале нашего бывшего университетского клуба на улице Герцена, где в былые дни устраивались танцевальные вечера (теперь его, к несчастью, захватила церковь), стоял сзади и слушал, как говорил надгробную речь Александр Николаевич. Это был последний раз, когда я его видел. Не могу рассказать, с каким особенным чувством любви и благодарности я вспоминаю наших стариков, особенно Павла Матвеевича Шендяпина и Андрея Николаевича Дынникова.

А баллады Толстого, «Илья Муромец», «Гакон Слепой» и другие, я потом с наслаждением читал вслух моему сыну, когда он был малышом, и все они шли на ура, моментально заучивались наизусть и потом исполнялись с моими интонациями, как это бывает у детей, точно записанные на плёнку.

Баратынского ты мне когда-то подарила. А вот Тютчев… Вот я тебе сейчас процитирую один стишок.

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
То глас её: он нудит нас и просит…

Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
Прилив растёт и быстро нас уносит
В неизмеримость тёмных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Поразительное стихотворение, да ещё написанное тогда, когда в России никто ничего подобного не писал (в 1830 году или даже ещё раньше). Я стал думать, о чём оно. Есть мир дня, и есть мир ночи. Они исключают друг друга: что-нибудь одно должно быть действительностью. Глядя из дневного мира, сон представляется мнимостью, игрой неупорядоченного воображения; но можно ведь и глядеть на дневной мир **оттуда**. Тогда окажется, что дневная реальность – это маленький островок суши, а вокруг неё бездонный и беспредельный океан. И вот мы отправляемся в плаванье по этому океану, наше «я», сновидец, – это волшебный чёлн. И теперь чёрный океан, над которым сверкают звёзды и в котором они отражаются, «пылающая бездна», – это и есть высшая действительность, а тот, дневной мир – иллюзия.

Конечно, какой-нибудь специалист по Тютчеву тотчас объяснит тебе, что это стихотворение мог написать человек, начитавшийся йенских романтиков и классиков немецкого идеализма; юный Тютчев вёл в Мюнхене долгие разговоры с седовласым Шеллингом, и старик был в восторге; но что из того? Стихи живут сами по себе, и околдовывают читающего, особенно если прочесть их несколько раз, а для меня они даже сохраняют какую-то странную актуальность, потому что сон – неисчерпаемая тема литературы.

Мне было очень приятно узнать, что ты любишь поэзию Бродского. Я немного знал его. В годовщину его смерти поместил о нём (в Литературной газете, которая тогда ещё была литературной) статейку. Если хочешь, разыщу и пришлю.

Насчёт журнала, который я здесь выпускал вместе с несколькими коллегами около восьми лет, – он назывался «Страна и мир», – я хотел сказать, что, собственно говоря, «Журнал», о коем говорится в романе под весёлым названием «После нас потоп» (если ты имела в виду этот роман), – это нечто другое. Когда-то я подвизался в одном самиздатском журнале, состоял под следствием по этому поводу. Журнал в романе может напомнить Самиздат – своеобразное явление тех лет. Тем не менее, для меня этот «Журнал» был скорее символом катакомбной культуры вообще, и даже не обязательно в брежневские времена. А вообще-то меня в моём сочинительстве всегда больше интересовали человеческие отношения, чем «идеи».

Ты спрашиваешь о Гейдельберге, – сам город с университетом XIV века и другими достопримечательностями много интересней, чем то́, что там происходило со мной. Это был очень красивый зал. Говорились речи. Сначала laudatio, которую произнёс профессор Вольфганг Казак, известный в Германии славист, чей «Словарь русской литературы XX века» ты, возможно, знаешь. Потом речь обербургомистра, вернее, бургомистерши. Потом должен был сказать ответную речь лауреат. Потом вручение диплома, подарка, цветов для жены лауреата и денежного чека (очень даже нелишнего!). Потом банкет в крепости на горе, в виду Неккара и заречного города.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.